

Н О В Ь И
М И Р

12



1964

НОВОЫЙ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XL

№ 12

Декабрь, 1964 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е И С С С Р

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
СТРАНИЦЫ ЛИРИКИ СЛОВЕНСКИХ ПОЭТОВ. <i>Матей Бор. Видение. Герой Хиросимы.— Тоне Селишкар. Товарищи. Водопад.— Сречко Ковсела. Солнце имеет корону. Усталые от работы. Перевел со словенского Алексей Сурков</i>	3
АНАТОЛИЙ РЫБАКОВ — <i>Лето в Сосняках</i> , роман	9
ВЛ. КОРНИЛОВ — <i>Четыре стихотворения</i>	83
А. МАРЬЯМОВ — <i>Полярный август. Продолжение</i>	85
МУСБЕК КИБИЕВ — <i>Белые звезды. Перевела с чеченского Новелла Матвеева</i>	137
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ	
ДНЕВНИК АНАСТАСИИ ВАСИЛЬЕВНЫ ЯКУШКИНОЙ (С послесловием Н. В. Якушкина — Несостоявшаяся поездка А. В. Якушкиной в Сибирь)	138
Академик И. М. МАЙСКИЙ — <i>Дни испытаний (Из воспоминаний посла)</i>	160
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
ЕЩЕ О МЕМУАРАХ. <i>Р. Савицкая. Листая страницы воспоминаний о В. И. Ленине.— В. Шкловский. Память и время.— Л. Малюгин. Сочинение с ошибками (Заметки на полях мемуаров А. Штейна)</i>	195
МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ	
ПИСЬМО А. К. ВОРОНСКОГО В. И. ЛЕНИНУ (Публикация И. Смирнова)	213
ЛУИЗА БРАЙАНТ — <i>Беседа с Н. К. Крупской. (Публикация, комментарии и перевод А. Байковой)</i>	220

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
Г. Березкин. Он сделал все, что мог...— С. Соложенкина. Быть самим собой.— А. Синявский. Pamфлет или пасквиль?— Ст. Рассадин. Среди людей.— Г. Трефилова. Азбука этики.— Л. Левицкий. Неведомый враг.— В. Адмони. С позиций человечности.	223
<i>Политика и наука</i>	
В. Кучерова, И. Кон. Безответственный подход к ответственной теме.— О. Семеновский. Об этом забывать нельзя.— И. Кичанова. Католическая церковь и политика.— С. Шостакович. Новая книга о Грибоедове.— И. Миндлин. Старое в новом.	249
Трибуна Читателя	
Н. Протасов — Литературные штормы	263
КОРОТКО О КНИГАХ	270
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	279
СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ЗА 1964 ГОД	281



СРЕДИ ЛЮДЕЙ

Фазиль Искандер. Дети Черноморья. Стихи. Сухуми. 1961. 143 стр.

Фазиль Искандер. Молодость моря. Стихи. «Молодая гвардия». М. 1964. 112 стр.

Поэт Фазиль Искандер редко рассказывает прямо о себе самом (во всяком случае это относится к большинству лучших стихов двух рецензируемых сборников). Он даже как будто рад раствориться в родном ему мире, затеряться среди любимых своих героев. Искандер просто дает нам возможность вместе с ним следить за колхозника-

ми, приехавшими в городской театр: «они внезапно подкатили на двадцати грузовиках, как будто город захватили на двадцати броневиках»; слушать разговор подгулявших цыган на маленькой южной пристани; спускаться без провожатого по течению горного ручейка, выбегающего из орешника и разумно освоенного людьми: «у каменной заметной ниши ограду соорудил народ. А водопой чуть-чуть пониже — сначала люди, после скот». Мы благодаря ему чувствуем себя своими людьми среди крестьян, собирающих «изабеллу» — «абхазский древний виноград», и в деревенской давилне в ту самую пору, когда там

 давят виноград —
Вот что важнее всех событий.
В дубовом дедовском корыте
Справляют осени обряд.

Крестьяне, закатав штаны,
Ведут языческие игры,
Измазанные соком икры
Работают, как шатуны...

Да и во многих иных стихах нет самоизлияний и деклараций, есть «всего только» картины жизни — но чем реже Искандер заявляет нам о своем присутствии, тем яснее мы ощущаем в стихах его самого; чем больше он говорит о других, тем живее мы различаем конкретный человеческий характер его лирического героя.

Первые сведения о нем дает нам хотя бы бросающаяся в глаза многокрасочность и «вещность» его поэтического видения.

Речь идет не о литературных влияниях, не о наивных «багрицизмах», которых у Искандера становится все меньше и меньше. Речь — о естественной, органичной красочности, внушенной Искандеру природой его родного края — Юга, Черноморья, а главное — выражающей его жизнелюбивое, радостное мироощущение.

Это жизнелюбие — не просто мускульная радость, свойственная всякой — лишь бы нормальной — молодости и многим молодым поэтам. Тем более дело тут не в запоздалой полудетской легкости и доверчивости к миру, порою очень привлекательной, но основанной на малом знании жизни, ее добра и зла и потому становящейся чем дальше, тем все более инфантильной. Здесь же не то. Мироощущение Искандера радостно не потому, что он слыхом не слышал о недобром и трагическом. Не потому, что мир его наблюдений ограничен одним весельем.

Даже в самых радостных стихах Искандера нет беззаботности, есть представление о жизненной сложности — оттого сама радость становится значительнее и дороже; и, напротив, стихи о людском горе у Искандера особенно сочувственны и неравнодушны потому, что он знает (и постоянно ощущает) цену радостям жизни и ее полноте.

Из простой, казалось бы, жанровой зарисовки выросло сильное стихотворение «Цыганы на пристани» — о том, как клянет судьбу и цыганского бога старик кузнец, потерявший одиннадцать детей и сохранивший лишь одного; о том, как неумело и трогательно жалеет он последыша: «Сыночек! Человек! Где братья? Братьев — нет! Буфетчик, эй, буфетчик, дай мальчику конфет! Дай мальчику печенье, котлеты тоже дай. Мученье есть мученье. Гуляй, сынок, гуляй!..»

Стихи эти не были бы так человечны, а неумелая ласка, выраженная в этой бедной щедрости, которая и сама-то по себе говорит о судьбе человека, о горькой кочевой жизни, не была бы такой пронзительно достоверной, если бы эта сцена не была увидена глазами человека, знающего, что такое счастье, знающего, как оно необходимо всем.

И когда поэт рассказывает о парковой танцальке, где «девочки с фабрики местной, матросы с торговых судов», когда он любитесь девчонкой в выцветших лыжных штанах, которая танцует сама по себе — и не просто любитесь, а видит за этой беззаботной юношеской самоуверенностью «зеленую крепость орешка», видит, как «хочет найти поколение свой голос, свой собственный жест», — то именно эта душевная пристальность не позволяет ему проглядеть в веселой толкотне промелькнувшую нелегкую судьбу. И сам стих, легкий, почти вальсирующий, вдруг становится более суровым, сосредоточенным, отрывистым:

А вон и знакомые лица.
Танцуют с военных времен.
Им боязно остановиться,
Им страшно лететь под уклон.

На шаткие доски настала
Из круга семьи и подруг
Войны центробежная сила
Их вбросила в бешеный круг.

Пора бы какую новинку,
К домашнему, что ли, теплу.
Но словно заело пластинку,
И некому сдвинуть иглу...

Последние строки — не «находочка», призванная оживить стих. Пластинка, потеряв-

шая вдруг возможность сдвинуться с какой-то музыкальной полуфразы и томительно-однообразно повторяющая ее, разом напоминает нам о тяжком однообразии одинокой женской судьбы, чье естественное движение было остановлено войной, и о противоестественности этого одиночества и однообразия, мучительно осознаваемой поэтом. Конкретность образа рождена конкретностью переживания.

Конечно, жизнелюбие само по себе еще мало что говорит о человеке. Эгоистический эпикуреец, весело идущий мимо чужой беды, тоже жизнелюб. Но здесь жизнелюбие, пройдя испытание горем и злом, стало принципиальным, выросло в сознание слитности мира и людей, их взаимной ответственности и связанности.

Решающую роль сыграло в этом то, что Искандер связан не с «человеком вообще» (которого, как известно, попросту не существует), а с живыми своими современниками и соседями, которых хорошо знает, часто видит, у которых многому учится, — с трудовыми людьми.

Почему-то в нашей поэзии последних лет прочно сложился штамп стихотворения на тему «рабочая (или, скажем, студенческая) столовая». Смысл его сводится к тому, что поэт, попав в общество обедающих рабочих, с восторгом и с гордостью декларирует свою причастность к ним. Начало этому штампу, кажется, невольно положило хорошее (и оттого не несущее за штамп ответственности) стихотворение Я. Смелякова «Столовая на окраине». То ли обаяние этих стихов было неотразимым, то ли столовая показалась последователям очень уж удобным для общения с трудовыми людьми местом, но так или иначе стихи о столовых и чайных пошли волной. В конце концов (такова логика бесплодного и равнодушного к людям самоутверждения) сами посетители столовой превращались в реквизит, а гордое ощущение причастности к ним вырождалось в нехитрую игру словами, как это случилось, например, в одном из стихотворений, напечатанных в «Юности»:

Я чувствую себя их однокашником —
Я съел немало вместе с ними каш!
Я сознаю себя их одноклассником,
Посколькну ведь и я рабочий класс!

У Искандера тоже есть стихотворение «Хашная». Оно характерно для него многом, в том числе и выразительными сред-

ствами. Характерно, скажем, чуть торжественной интонацией начальных строк («вчера, вовеки и сегодня здесь все равны между собой»), особенно обаятельной рядом с юмором и легкой иронией; характерно уже знакомой нам красочностью, осязаемостью; характерно не стерильной, а скорее даже грубоватой лексикой, а главное — органическим слиянием всех этих качеств, тем сплавом, который и составляет своеобразие манеры Искандера.

Эти стихи — как и многие другие — на первый взгляд могут показаться описательными; но только на первый взгляд. На самом деле ряд сочных зарисовок и мгновенных портретов — цельная картина, соединенная взглядом поэта, его — хотя прямо и не высказываемой, но осязаемой — мыслью.

Наш взгляд скользит по лицам ранних посетителей хашной — дежурного таксиста в пижонском шарфе, рыбаков, вернувшихся с ночного лова и шумно требующих горячего; мы охотно приобщаемся к той симпатии, которую поэт испытывает к своим героям и исподволь внушает нам, хотя пока еще не совсем осознаем причины этой симпатии. Но вот внимание наше задерживается:

В углу, намаившийся с ночи,
Слегка распаренный в тепле,
Окончив смену, ест рабочий,
Дымится миска на столе.

Он ест, спины не разгибая,
Сосредоточенно, молчком,
Как бы лопатой заргребая.
Как бы пригнувшись под мешком...

Обаяние этих стихов в том, что автор их — не случайный гость среди своих героев, он видит их не впервые, понимает и ощущает их судьбы и характеры. Даже в посадке своего соседа он безошибочно узнает рабочего. Следя — всего-то-навсего — за тем, как тот ест, поэт видит характер трудового человека, видит, что труд сообщил ему и спокойную уверенность, и достоинство, и естественность.

Он густо перчит, густо солит.
Он держит нож, как держат нож. —

конечно, такие мельчайшие подробности ничего не дали бы поэту, если бы тут не было постоянной, непрерываемой причастности, если б Искандер не мог сказать:

По грозной сдержанности, что ли,
Его повсюду узнаешь.

Именно «повсюду». Хашная для Искандера не экзотический кабачок, а маленькая и, разумеется, не главная часть мира, в которой тоже можно постичь самую его суть. Не зря стихи кончаются ликующим возгласом.

Горбушка теплая, ржаная,
Надушенная ровно в шесть.
Друзья, да здравствует хашная,
Поскольку жизнь кипит
и здесь!

Таков поэт Искандер.

Правда, сейчас он заметно меняется. В его последней книге «Молодость моря» гораздо больше, чем в предыдущей, стихов, в которых мысль высказывается уже не отражено, не через живописные подробности и портреты, а прямо. Поэт все чаще обращается к читателю непосредственно, все чаще мелькает в стихах его «я».

По-видимому, это естественно — как признак дальнейшего взросления, как желание взойти на высшую ступень осмысления мира, желание мыслить и философскими категориями. Но как важно и в этом — как и в любом — случае сохранять главные и лучшие свои качества — ощущение всеобщей связности, яркость восприятия жизни!

Когда Искандер сохраняет все это, он пишет такие отличные стихи, как «Мода», в которых с легкой, а то и едкой иронией говорит о капризно изменчивой моде и о тех, кто поспешает за ней, страшась оказаться «старомодным». Естественно и облегченно звучит вздох поэта:

Но, слава богу, соль и хлеб
Стоят вне временных судеб.

А затем следует главный вопрос, ради которого и был заведен разговор:

А как твои дела, Искусство?
Кто моден, то есть знаменит?
Кто выплеснут струей фонтана,
Короткой славой Ив Монтана?
Кто восстает на реализм
Как бы на некий роялизм?
А кто вне временных судеб,
Как Пушкин, как Толстой, как хлеб.

Стихи эти несколько отличны от тех, что были характерны для «старого» Искандера, но он остается в них самим собой — во всяком случае не изменяет лучшим и главным своим качествам. За их обобщающими словами, не давая им превратиться в слишком общие, в абстракцию, ощущается и прежняя

причастность Искандера к любимым его героям (как не случаен здесь «хлеб» — критерий независимости от «временных судеб»), ощущаются прежние симпатии, прежнее — жизнелюбивое и напряженное — восприятие жизни.

Но бывает и иначе, когда поэт (или его лирический герой) как бы расслабляется, думает и чувствует, «не выкладываясь».

По удачному выражению одного из критиков, отношения между автором и его лирическим героем те же, что между прототипом и типом.

Если поэт потребует «к священной жертве Аполлон», если он (поэт) «типизирует» свои собственные чувства, освобождая их от мелкого и случайного, доводя до полной ясности свое представление об идеале, о том главном, что он имеет сказать, — он выразит себя именно как человека, как личность, заставит нас поверить в свою человеческую подлинность. Если же он станет писать о себе «просто так», без особой нужды, потому что пишется, то сколько бы ни сообщал он подробностей о себе и своей жизни, все равно личность его, не поднятая ощущением идеала, покажется нам лишь одной своей стороной и перестанет в наших глазах быть личностью, а стиль тоже распадется на составные части и перестанет быть стилем.

К сожалению, последнее случается и с Искандером — когда он вздумает «просто так», без серьезного внутреннего повода рассказать о своей семейной жизни или о лыжной прогулке или увлечется слишком общими (то есть опять-таки лишенными внутреннего повода) словами. Тогда сплав его характерных качеств, его индивидуальность вдруг распадается на составные части, переставая быть сплавом и индивидуальностью: красочность существует сама по себе, остроумие — тоже, ораторская интонация — тоже. Все это теряет в таком случае трехмерность, становясь плоским.

Так, красочность или расцветивает примитивную сентенцию (как в стихотворении «Зимние игры», где вся яркая изобретательность подчинена заключительному призыву возлюбить лыжный спорт), или же вовсе оказывается нужной лишь затем, чтоб описать арбуз, только и всего (стихотворение это можно привести целиком):

Арбуз — это пиршество лета.
Планету рождает планета.
Арбуз — это зори во взоре (?)

Да свежесть предутренней зыби.
Арбуз — это Красное море,
Где плавают черные рыбы.

Остроумие стихов «Кольцо», столкнувшись с пустяковостью замысла, в конце концов перешло в банальные остроты насчет тещи и телевизора; национальная определенность стиля превратилась в «Балладе о зависти» в книжный *couleur locale* с наивным антуражем (где есть и «седло кубачинской работы», и пистолеты с серебряной насечкой, и «улыбка красавицы Ризико»), с мнимовосточной витневатостью речи и мнимовосточным культом «мужественности». А ораторский пафос и гнев кое-где выродились в обилие восклицательных знаков, в высокопарность и в ругань:

Нас предают анафеме жрецы,
Хотя б за то, что женщины и музы
Нам улыбаются, за то, что наши блузы
Распахнуты. Нас ненавидят трусы,
За трусость собственную мстят они.
Скупцы!

А порою это писание без особого повода соединяется к тому же с претензией — и на свет является имитация многозначительности, граничащая порою с комизмом. Как в этом мадригале:

Ты говоришь: «Никто не виноват,
Но теплых струй не вымолить у рек.
Пускай в долинах давят виноград,
Уже в горах ложится первый снег».

Я говорю: «Благодарю твой смех»,
Я говорю: «Тобой одной богат.
Пускай в горах ложится первый снег,
Еще в долинах давят виноград».

В пушкинском «Романе в письмах» есть также место:

«Намедни сочинил я надпись к портрету княжны Ольги (за что Лиза очень мило бранила меня):

Глупа как истина, скучна как
совершенство.

Не лучше ли:

Скучна как истина, глупа как
совершенство.

То и другое похоже на мысль. Попроси В. приискать первый стих и отныне считать меня поэтом».

Однажды было тонко замечено, что эти упражнения Владимира (героя романа) — пушкинская пародия на мнимую многозначительность, на то, что всего лишь «похоже на мысль», а на самом деле не значит решительно ничего.

Это может показаться странным, но пока еще именно в тех стихах, где Искандер не выставляет на обозрение своего «я», выражая его опосредствованно, мы чаще видим его живое лицо, слышим живой голос. Во многих же стихах, написанных прямо о себе, претендующих на исповедальность, мы видим не лицо, а, как говорил Маяковский, «веснушку, ноздрю».

...Может быть, я уделил слишком много внимания неудачам хорошего поэта. Ведь в конце концов даже в последней книге Искандера, где неудач больше, чем в предыдущей, много и хороших стихов; более того, в ней есть и такие удачи, которые прежде Искандеру были недоступны.

Все так. Но о неудачах этих (пусть частных), мне кажется, говорить самое время. Ведь так бывало со многими поэтами — и как раз в тот момент, когда они, по их мнению, достигали зрелости, овладевали мастерством, становились «профессионалами». Им начинало казаться, что теперь-то уж решительно все, выходящее из-под их пера, решительно все, касающееся их самих, касается и читателя. Так терялась связь с читателями, так уходила из стихов живая жизнь во всей ее цельности и сложности. И упаси бог от такого профессионализма!..

Я не верю, что подобное грозит Искандеру, — слишком органична его причастность к людям, слишком хороши эти люди, слишком полнокровно его мироощущение. Но знать об этой опасности и о своих неудачах он должен. Хотя бы потому, что легче всего мы прощаем тех, от кого мало ждем, кого — в итоге — не очень-то любим.

Ст. РАССАДИН.